

**ПУГАЧЕВ И САВЕЛЬИЧ
(К ПРОБЛЕМЕ НАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
В ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»)**

А. С. Пушкин был в русской литературе первым, кто от рационалистического, еще во многом просветительского понимания народной жизни, которое не представляло возможностей для создания характера в его социально-психологической исторической конкретности, перешел к изображению народного характера в диалектической противоречивости и сложности. В этом отношении наиболее показателен образ Пугачева в повести «Капитанская дочка» (1836). Он бы не стал главным героем повести, из которой вырос русский роман, не будь в крестьянском царе ярко выраженной и последовательно воплощенной самобытности. Тем самым индивидуально очерченный народный характер оказывался и соответствием и антиподом «лишнему человеку» в творчестве как самого Пушкина, так и его современников.

Пугачев по-своему равновелик «современному человеку» пушкинской поры. В крестьянском царе есть и ощущение собственной незаурядности, и свое честолюбие. По сути дела, раздумье на тему, по силам ли ему справиться с Фредериком Прусским, принципиально не отличается от знаменитого «мы все глядим в Наполеоны», как не отличается это пугачевское раздумье и от честолюбивого желания Андрея Болконского заполучить свой «Тулон». Самоутверждение личности на стезе индивидуального честолюбия, совершенно незнакомое «крестьянскому сыну» из разбойничьих песен (в том числе и той, что поют пугачевские «господа енаралы» вместе со своим предводителем), как раз есть у Пугачева.

Конечно, все это еще очень первобытно, а потому наивно: и забавная важность, которую напускает на себя самозванец, и его разбойного вида «енаралы», которые, как отметил между прочим Ю. М. Лотман, носят «кавалерские ленты на крестьянских тулупах...»¹⁾ Однако не забудем: крестьянский царь человек огромной власти. Как же ему было не сравнить себя с Фридри-

¹⁾ Ю. Лотман. Идеальная структура «Капитанской дочки». В кн.: «Пушкинский сборник» Псков, 1962, стр. 9. В дальнейшем все ссылки на эту статью приводятся без выходных данных.

хом Великим, как же было ему не поставить себя мысленно на одну доску рядом с одним из наиболее известных европейских монархов XVIII века?

Да и то, что Пугачев дарит помилованному Гриневу лошадь и тулуп, — это не просто соблюдение правил вежливости (заплатить добром за добро). Это еще и стремление утвердить себя в психологическом поединке с Гриневым: вот, мол, я, бродяга без роду-племени, человек, в царское происхождение которого ты откровенно не веришь, определяю твою судьбу, дарую тебе, офицеру правительственных войск, и жизнь, и шубу со своего плеча (в традициях московских царей!), ибо «казнить, так казнить, миловать, так миловать»²).

Вот она — настоящая жизнь для крестьянского вождя: именно в ней он обретает простор для проявления своей незаурядной натуры. Жить взахлеб, не жалея ни себя, ни окружающих, — такова-то и есть воспетая в народных песнях и внутренне близкая Пугачеву «вольная-волюшка».

Поэтому нельзя согласиться с В. Д. Сквозниковым, когда он в домашний мир простодушной жизни российской глубинки стремится вписать самозванца: «...и самому Пугачеву, зачинщику (по взгляду рассказчика) кровопролития, не убийств хочется, а жизни вольной: «Улица моя тесна; воли мне мало»³).

На образе Пугачева действительно ложится отсвет домашности. Ему и в самом деле не чужды мирные радости: и рюмка водки, выпитая с морозу на постоялом дворе, и веселая готовность погулять на свадьбе Маши Мироновой с поручиком Гриневым: «Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем!» (VI, 503).

Однако слова Пугачева о том, что воли ему мало, свидетельствуют вовсе не о воле мирного существования, а о стремлении в еще большей мере утвердить себя и в собственных глазах, и в глазах окружающих.

Пугачеву нужна свобода полная, окончательная, решительная, где развязаны руки, где нет предела ни твоим помыслам, ни твоим действиям. Именно в стихии народной войны стремится самозванец обрести желанную свободу, и пути назад уже нет: «...поздно мне каяться» (VI, 507).

Это и придает пугачевскому облику черты мрачного величия, черты, которые проступают по мере того, как мы все ближе знакомимся с героем. Вспомним появление Пугачева под Белогорской крепостью в качестве предводителя восставших: «...на белом

²) А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. Том 6. М. — Л., АН СССР, 1949, стр. 477. В дальнейшем все ссылки на это издание см. в тексте: римская цифра обозначает том, арабская — страницу.

³) В. Д. Сквозников. Стиль Пушкина. В кн.: «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие». М., «Наука», 1965, стр. 78. В дальнейшем все ссылки на эту статью приводятся без выходных данных.

коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженною саблей в руке; это был сам Пугачев» (VI, 461).

Таким Пугачева видит не только Гринев, но и солдаты гарнизона, и жители крепости. После взятия «фортеции» крестьянский царь предстанет в восприятии и пленных, и победителей, и мирных граждан: «На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была накинута на его сверкающие глаза» (VI, 464).

Сопоставим этот образ — «сверкающие глаза» — с деталями того же ряда: попадая рассказывает Петруше Гриневу о том, что Пугачев взглянул на лежащую в бреду Машу Миронову «ястребиными своими глазами» (VI, 470); подал Савельич Пугачеву «реестр барскому добру, раскраденному злодеями» (VI, 480) — тот «вскричал, сверкнув глазами» (VI, 481). Это — взгляд толпы, видящей в Пугачеве выдающегося, вознесенного над нею человека, владыку, и тут уж не имеет значения, законный он или незаконный. Для народной массы этот человек предстает в ореоле военной силы и государственного величия.

Слияние Гринева, попады и всего простого народа в ощущении пугачевского величия, в восхищении (вольном или невольном) перед отчужденным сиянием власти вырастает из пушкинского стремления опозитизировать народный характер, представляющий как носитель безоглядного удалства, как воплощение силы, хотя бы эта сила несла в себе жестокость и гибель и для окружающих, и для самой себя. Героизированному облику Пугачева, увиденному глазами Петруши Гринева и народной толпы в Белогорской крепости, соответствует и пророческий сон и образ бурана, обстоятельно рассмотренные и истолкованные нашим пушкиноведением.

А. З. Лежнев прав: «...здесь (в «Капитанской дочке». — В. С.) народная «стихия» выступает в самом ярком и грозном выражении, как стихия «мятежа», восстания... Пушкин-поэт влекся к мужицкому, «русскому» «бунту», он глубоко чувствовал заложенную в нем мощную и трагическую поэзию».⁴⁾ Важным для нас является то, что наиболее яркое персонифицированное воплощение «бунт» как «вольная-волюшка» получил в фигуре Пугачева.

Чтобы лучше уяснить отношение А. С. Пушкина к Пугачеву как воплощению народного характера, надлежит, говоря словами Ю. М. Лотмана, «проследить, какие герои и в каких ситуациях вызывают симпатии автора», поскольку «сам способ превращения исторических героев в рупор авторских идей был Пушкину глубоко чужд»⁵⁾.

⁴⁾ А. Лежнев. Проза Пушкина. Опыт стилистического исследования. Издание второе М., ГИХЛ, 1966, стр. 107. В дальнейшем все ссылки на эту книгу приводятся без выходных данных, сокращенно: А. Лежнев. Проза Пушкина.

⁵⁾ О. Лотман. Идеальная структура «Капитанской дочки», стр. 11.

Для А. С. Пушкина важно следующее дело не только в том, что вождь крестьянского восстания проявляет удивительную широту натуры, подлинное благородство и стихийное — «нутряное» — чувство справедливости (на этом сходятся едва ли не все писавшие о «Капитанской дочке»). Дело еще и в том, что Пугачев — один из тех, кто по Ю. М. Лотману, входя в состав понятия «люди политики», способен действовать даже «вопреки своим убеждениям и «законным интересам»...⁶⁾.

С этой точки зрения есть смысл вернуться к неоднократно обсуждавшемуся вопросу о том, как соотносены между собой в «Капитанской дочке» Пугачев и Екатерина Вторая в качестве представителей двух противоположных систем государственного устройства, когда «у каждой стороны есть своя, историческая и социально обоснованная «правда», которая исключает для нее возможность понять резоны противоположного лагеря», когда «и у дворян и у крестьян есть своя концепция законной власти, носители этой власти, которых каждая сторона, с одинаковым основанием, считает законными»⁷⁾.

Здесь сталкиваются две точки зрения. Одни считают, исходя из отрицательного отношения поэта к Екатерине Второй, что к финалу повести появляется разгневанная, властная императрица, от которой бесполезно ждать снисхождения и пощады⁸⁾. Другая точка зрения основывается на диаметрально противоположном истолковании этого эпизода⁹⁾. Наиболее точное опреде-

⁶⁾ Там же, стр. 16.

⁷⁾ Там же, стр. 8.

⁸⁾ Д. Благой. Мастерство Пушкина. Вдохновенный труд. Пушкин — мастер композиции. М., изд-во «Советский писатель», 1955, стр. 264. К мнению Д. Д. Благоев присоединяются и некоторые другие исследователи, например О. В. Астафьева, которая тоже считает, что «ждать от нее (Екатерины Второй.— В. С.) снисхождения или пощады народу бесполезно...» (О. В. Астафьева. Образ Пугачева в повести Пушкина «Капитанская дочка». В кн.: «Ученые записки Таганрогского государственного педагогического института», вып. 1. Таганрог, 1956, стр. 126).

⁹⁾ «Екатерина II является в конце «Капитанской дочки» символическим и в то же время глубоко правдивым воплощением несокрушимой и благой силы царской власти, руководимой разумом и чувством справедливости» (Н. И. Чернышев. «Капитанская дочка» Пушкина. М., 1897, стр. 80).

«...Пушкин в заключение вынужден был все же дать ее образ в традиционном-официозном, почти лубочном тоне как образ милостивой царицы, видимой глазами героев-дворян» (Д. П. Якубович. «Капитанская дочка» и романы Вальтер Скотта. В кн.: «Пушкин. Временник пушкинской комиссии». 4—5. М.—Л., АН СССР, 1939, стр. 192—193). «Дворянская царица, как добрая фея, довершает то благое дело, которое начал мятежный крестьянский царь—и все, как в сказке, кончается хорошо, благополучным союзом любящих сердец. (...) Перед нашим взором не «реальная» императрица Екатерина II с обязательными атрибутами своего исключительного положения, а близкая к сказочному образу царица—и важная и доступная» (В. Д. Сквозников. Стиль Пушкина, стр. 81). Разрядка принадлежит автору. Оставляя в стороне разницу в стилистической окраске формулировок, надо признать, что исследователи, чьи высказывания здесь приведены, сходятся на признании приподнятости образа Екатерины II.

ление сущности образа императрицы в идейной структуре «Капитанской дочки» дал, как нам кажется, Ю. М. Лотман. Указывая на то, что в Екатерине Второй «живет не только императрица, но и человек», автор считает необходимым «решительно отказаться, как от упрощения, от распространенного представления о том, что образ Екатерины II дан в повести как отрицательный и сознательно-сниженный»¹⁰). В понимании того, что царица приобретает у А. С. Пушкина «Капитанской дочки» облик человечности, сходятся Ю. М. Лотман и В. Д. Сквозников — оба устанавливают связь между милостью самозванца и милостью царицы. Таким образом, по отношению к Петруше Гриневу и Маше Мироновой дворянская царица принимает от крестьянского царя эстафету доброты и человеколюбия: «...герои не погибают — их спасает человечность»¹¹).

Однако, сопоставляя под этим углом зрения образы Екатерины Второй и Пугачева, нужно уточнить, что хотя царица выходит из своей царскосельской резиденции, чтобы помочь Маше, подобно тому, как Пугачев покидает свой дворец-избу, чтобы мчаться в Белогорскую крепость ради спасения все той же «бедной сироты», однако «матушка-государыня» все же не выдерживает соперничества с самозванцем. Все дело в том, что императрице ее человечность по отношению к Маше Мироновой немногого стоит. Правда, сначала она произнесла резкие слова о том, что поручик Гринева «пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй» (IV, 537). Но заметим: эти слова произнесены до того, как Маша «с жаром рассказала все что уже известно... читателю» (VI, 538). В этой ситуации Машино письмо и ее устное свидетельство оказываются тем недостающим звеном, которое восполняет пробел в следственном деле — тот самый пробел, который возник потому, что ни Швабрин, ни тем более Гринева не пожелали упоминать имя Маши Мироновой на допросах¹²). Царица, таким образом, хорошо информирована и действует в полном соответствии со своими государственными законами. Государыня не прощает Гринева, а убеждается в его невиновности. Таким образом, доброта Екатерины Второй — это доброта, никоим образом не выходящая за рамки законов дворянской государственности, доброта, укладывающаяся в пределы заурядной нравственности — на уровне простого соблюдения норм судопроизводства.

Лишь заявив: «Я убеждена в невинности вашего жениха» (VI, 539), императрица считает нужным вспомнить: «...я в долгу пе-

¹⁰) Ю. М. Лотман. Идейная структура «Капитанской дочки», стр. 17, 16.

¹¹) Там же, стр. 15.

¹²) На то, что Екатерина II именно из беседы с Машей поняла невиновность Петруши Гринева, указывает О. В. Астафьева в статье «Образ Пугачева в повести Пушкина «Капитанская дочка» (В кн.: «Ученые записки Таганрогского государственного педагогического института», вып. I. Таганрог, 1956, стр. 126).

ред дочерью капитана Миронова» (VI, 540). Между тем, для Пугачева важна память о добре Гринева вне зависимости от его же вины как офицера правительственных войск: «...я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне важную услугу...» (VI, 475). После кровавых репрессий и во время их Пугачев ищет путь к деятельному добру, простодушно радуется возможности оказать милость.

Но все дело в том, что, творя добро, Пугачев оказывается перед дилеммой, которая для Екатерины Второй не существует. Нельзя забывать, что Пугачев — носитель крестьянской идеи государства. Это и заставляет его поступать в соответствии со стихийно складывающимися законами крестьянской государственности. Эти законы находятся в стадии становления. Может быть, еще не всегда писанные, они, тем не менее, достаточно ясные — во всяком случае беспощадные к тем, кто так или иначе причастен к делу защиты помещиков и чиновников, и тут уж для мятежников нет разницы между Петрушей Гриневым, который виновен в том, что сражается против Пугачева, не признавая его законным государем, и Машей Мироновой, вся вина которой в том лишь и состоит, что она дочка казненного повстанцами коменданта Белогорской крепости.

Пугачев, следовательно, поступает в нарушение тех порядков, которые подняли его на неслыханную для рядового казака высоту и которые он, данной ему властью, обязан защищать. Перед самозванцем возникла необходимость выбора: или поступить в строгом соответствии с законами своей государственности (следовательно, по отношению к Гриневу и Маше бесчеловечно) или действовать вопреки этим законам (и значит, в поддержку человечности по отношению к двум любящим друг друга молодым людям. При этом важно учесть, что «этика крестьянского восстания XVIII в. раскрылась Пушкину не только в своей исторической оправданности, но и в чертах, для поэта решительно неприемлемых»¹³).

¹³) Ю. Лотман. Идеальная структура «Капитанской дочки», стр. 12. Исследователь также отмечает, что пушкинская мечта «об обществе социальной гармонии им выражается не прямо, а через отрицание любых политически-реальных систем, которые могли предложить ему историческая действительность — феодально-самодержавных и буржуазно-демократических («слова, слова, слова...»).» (Там же, стр. 16). Эта мысль подводит итог многолетним раздумьям пушкинистов, которые привели Б. В. Томашевского к утверждению, что «Пушкин не верил в окончательную победу крестьянской революции в тех условиях, в которых он жил» (Б. Томашевский. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии (1824—1837). М.—Л., АН СССР, 1961, стр. 189. В дальнейшем все ссылки на эту книгу приводятся без выходных данных), а С. М. Петрова к выводу, что «Пушкин отверг крестьянско-революционное разрешение противоречий русской жизни» (С. М. Петров. Исторический роман А. С. Пушкина. М., АН СССР, 1953, стр. 22. В дальнейшем все ссылки на эту книгу приводятся без выходных данных). Н. Л. Степанов тоже считает нужным отметить, что авторская симпатия к Пугачеву отнюдь не

Как уже не раз отмечалось, в «Капитанской дочке» жестокость восставших уравнивается жестокостью правительственных войск.

Зурин, офицер правительственных войск, по отношению к Маше мог поступить как обыкновенный насильник, чувствующий свою безнаказанность. Со своей стороны, и злодейство мятежника Швабрина лишено величия. Разница между Зуриным и Швабриным чисто количественная, внешняя — один готов злоупотребить служебным положением, воспользовавшись правом сильного, а другой некоторое время злоупотребляет им. И хотя, по справедливому замечанию Ю. М. Лотмана, у крестьянской государственности «содержание... иное», хотя «крестьянская власть патриархальнее, прямее связана с управляемой массой, лишена чиновников и окрашена в тона семейного демократизма»¹⁴), тем не менее в условиях, когда «мятежники оборачиваются властью» (М. И. Цветаева), возникает и возможность злоупотребления ею, и некая первобытная иерархичность мышления, которая, по-видимому, совершенно неосознанно заимствуется восставшими из их прошлого, из всего их тяжелого жизненного опыта, который складывался в условиях заостренного феодально-полицейского государства, а теперь переносится в их мятежное, необузданное, разрушительное настоящее. Конечно, «господа-енаралы» с кавалерскими лентами поверх крестьянских полушубков — это внешнее, но вот то, что Гринева, который увозит Машу из пугачевского плена, восставшие пропускают беспрепятственно, принимая «как придворного временщика» (VI, 518), — это уже внутреннее, содержащее в себе печальные симптомы, тем более печальные, если учесть, что пугачевской власти без году неделя. Так А. С. Пушкин вносит трагическое уточнение в образ «вольной-волюшки», одухотворяющий Пугачева. Орел из калмыцкой притчи, которую «с каким-то диким вдохновением» (VI, 507) излагает Гринева Пугачев, с одной стороны, оказывается гораздо выше своего антипода — ворона, поскольку ему введом та полнота жизни, которая недоступна копающемуся в мертвечине ворону, но, с другой стороны, возможности орла тоже ограничены. Тем самым подчеркивается полная обоснованность пугачевской жалобы на то, что улица ему тесна, на то, что действует жесткая сила стесняющих незаурядную личность обстоятельств.

В отличие от Пугачева Екатерине II отнюдь не тесна ее «улица», где есть и твердый придворный ритуал, и весь антураж го-

означала «принятия Пушкиным идеи крестьянской революции, оправдания стихийного народного восстания, «бунта жестокого (в «Капитанской дочке»: «бесмысленного». — В. С.) и беспощадного», каким он являлся не только в глазах Гринева, но и самого Пушкина» (Н. Степанов. Изображение характеров в прозе Пушкина. — «Русская литература», 1961, № 1, стр. 18).

14) Ю. Лотман. Идейная структура «Капитанской дочки», стр. 9.

сударственного величия, включая румянцевскую колонну, мимоходом отмеченную Машей, и весь дворцовый размеренный быт. Как и «лишний человек», Пугачев одинок именно в своей недюжинности, в своей человеческой значительности, но про его ум не скажешь, что он «кипит» «в действии пустом», хотя восстание обречено на неудачу.

И. В. Сергиевский в статье «Пушкин в поисках героя», опубликованной в первом номере журнала «Литературный критик» за 1937 год, усматривал «ограниченность классового кругозора» «Капитанской дочки» в том, что «Пугачев со своей сердечностью, отзывчивостью к лучшим человеческим чувствам, готовностью защитить слабого, в изображении Пушкина — такая же белая ворона среди предводительствуемых им крестьянских масс, что и Гринев среди помещиков и чиновников»¹⁵).

Оставляя в стороне заведомо неверное стремление противопоставить Петруше Гринева породившей его и внутренне близкой ему жизни, обратим внимание на то, что И. В. Сергиевский совершенно справедливо подчеркнул явный разрыв между крестьянским вождем и предводительствуемыми им массами. В самом деле: не доверяя своим соратникам, Пугачев с ними советуется, вместе с ними воюет и даже разделяет с ними застолье; искренне симпатизируя Петруше Гриневу, он вместе с тем ставит под смертельную угрозу породивший этого доброго и честного офицера внутренне близкий ему мир. Возникает некое отчуждение и порождаемая этим отчуждением сложность. Поэтому, представляется, что «ограниченность классового кругозора» «Капитанской дочки», может быть, всего менее проявляется в изображении Пугачева. Применительно к образу самозванца неверие в крестьянскую революцию оборачивается глубокой симпатией к самобытному воплощению народного характера и — соответственно — верой в историческую дееспособность народа, который в ответ на историческую потребность создает таких, как Пугачев.

Именно в исторической жизни Пугачев проявляется как индивидуальность. Как ни велики ограничения, стоящие на пути Пугачева и к деятельному добру и к орлиной свободе, вождь крестьянского восстания поднимается на волне исторического бытия к тем сферам, где начинается индивидуальная жизнь осознающей себя личности. Утверждая человеческую значительность, внутреннюю самобытность Пугачева,

¹⁵) И. Сергиевский. Избранные работы. Статьи о русской литературе. М., ГИХЛ, 1961, стр. 56, 57. Это — в отличие от «Истории Пугачева», где, согласно распространенному среди пушкинистов мнению, автор «не только не выдвигает Пугачева как инициатора восстания, а напротив, он склонен скорее умалить его значение, растворяя личность Пугачева в общей массе стихийно поднявшегося народа» (А н н а Ч х е и д з е. «История Пугачева» А. С. Пушкина. Тбилиси, «Литература и искусство», 1963, стр. 208).

А. С. Пушкин утверждает, подчеркивает свою веру в возможности народного характера¹⁶).

«Научность» пушкинской прозы, ее деловитая сдержанность, не раз отмечавшаяся исследователями, отнюдь не становятся препятствием для той поэтичности, для той приподнятости, которая проявляется в образе Пугачева, когда автору становится важным раскрыть индивидуальную значимость, духовную незаурядность, личностную неповторимость крестьянского царя. Для того, чтобы лучше понять своеобразие пушкинского отношения к предводителю крестьянского восстания в целом, есть, думается нам, смысл сопоставить канонический текст «Капитанской дочки» с «Пропущенной главой», опуббликованной, как известно, много лет спустя после смерти автора.

Пугачевское самоуважение, возросшее у него в дни восстания чувство личности, ощущение собственной значимости получает некое соответствие в образе Андриюшка земского в «Пропущенной главе». Когда Петруша Гринев, действующий здесь под именем Буланина, приезжает домой, где тоже началось восстание, он сталкивается со здешним предводителем: «В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буйнить. «Где Андриюшка земский, — закричал я ему. — Кликнуть его ко мне».

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андриюшка, — отвечал он мне, гордо подбоченясь. — Чего надобно?» (VI, стр. 545—546).

Как видим, образ местного вожака несет на себе отсвет пугачевской важности, проявляющейся, например, во время появления Пугачева на площади в Белогорской крепости или в Бердской слободе, однако если Пугачев при этом только обытовлен, если он, исполненный самоуважения, даже увиденный в чем-то иронически, все равно не теряет своей значительности, то Андриюшка земский этой значительности начисто лишен. Он просто нагл и самодоволен. Не случайно этот образ сразу же получает сниженное воплощение: Гринев-Буланин колотит предводителя местных повстанцев, который, считая себя «государевым чиновником» и будучи в данный момент единственной реальной властью, тем не менее полуйнстинктивно подчиняется приказу молодого барина. Правда, Андриюшка земский потом оправляется от смятения и даже держит взаперти Гринева-Буланина вместе с его родителями и невестой, однако это уже дела не меняет: «государев чиновник» остается для читателя бесповоротно уни-

¹⁶ Так, в творчестве А. С. Пушкина 30-х годов сохраняла значение распространенная в декабристских кругах мысль, соотносящая «индивидуальность, самобытность народа (нации) и индивидуальность человека» (Л. Гинзбург. О проблеме народности и личности в поэзии декабристов. В кн.: «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. Сборник статей. М. — Л., ГИХЛ, 1960, стр. 53).

женным в своем холопстве, в своей бессознательной готовности к подчинению»¹⁷).

В этом отношении предводитель совершенно сродни предводимым. Если Пугачев возвышается над окружающими, то Андрюшка земский ничуть от них не отличается. Вспомним: стоящий на посту с дубиной в руках мужик при виде офицера правительственных войск, с одной стороны, потребовал «пашпорту», а с другой стороны, при этом «снял шляпу» (VI, 545). С одной стороны, этот караульный заявляет: «Да мы... бунтуем», а с другой стороны, добавляет привычное по отношению к барину (вне зависимости от его возраста) вежливое обращение «батюшка» (VI, 545). Соответственно—как только прискакали гусары, восставшие пали на колени, выдали бунтовщиков и, получив отеческое прощение их владельца, «пошли на барщину как ни в чем не бывало» (VI, 555).

В откровенно сниженном, неуважительно-ироническом изображении бунта проявляется знакомая по «Истории села Горюхина» атмосфера, возникающая в дошедших до нас отрывках, которые отличаются стремлением увидеть крестьянских персонажей без какой бы то ни было попытки их опозитизировать. Здесь пародируется героическое изображение народной жизни. Прославляются, например, женщины, которые «мужчинам не уступят... в отважности, редкая из них боится старосты» (VI, 187). Герой-повествователь, созывая на мирскую сходку своих крестьян, называет их в духе рылеевских «Дум» «гражданами», но «граждане» таковыми, безусловно, не являются. Придя «на двор приказной избы, служившей вечевой площадью», они выглядят весьма непрезентабельно: «Глаза их были мутны и красны, лица опухлы»; стоят они «зевая и почесываясь...» (VI, 193).

«Вечевая площадь», которая на самом-то деле представляет собой «двор приказной избы», полноправные «граждане», которые оказываются просто согнанными на сходку страдающими с похмелья крепостными мужиками,— во всем этом проявляются и авторская ирония и типологическое родство крестьянских пер-

¹⁷) В связи с этим представляется неоправданным то обстоятельство, что Н. В. Измайлов, говоря о том, что пугачевское восстание «распрямляет, так сказать, во весь рост согнутых крепостной неволею людей», ставит на одну доску Пугачева и Андрюшку земского: «Так преобразается и сам Пугачев, и его соратники Хлопуша и Белобородов, и мимоходом изображаемый земский Андрюшка, ставший «Андреем Афанасьевичем» (Н. В. Измайлов. «Капитанская дочка». В кн.: «История русского романа в двух томах». I. М.—Л., изд. АН СССР, 1962, стр. 188). М. И. Мальцев тоже считает, что в Андрюшке-земском «сразу же пробуждаются» «чувства человеческого достоинства», «когда появилась реальная возможность их защитить». (М. Мальцев. Тема крестьянского восстания в творчестве А. С. Пушкина. Чебоксары. Чувашское государственное издательство, 1960, стр. 202). Оба автора оставляют без внимания тот факт, что стоило офицеру пустить в ход кулаки, как от Андрюшкиной распрямленности и чувства собственного достоинства не остается и следа.

сонажей «Истории села Горюхина» с бунтарями из «Пропущенной главы». И горюхинцам, и мужикам из «Пропущенной главы» А. С. Пушкин отказывает в праве на историческое существование.

Однако знаменательно следующее обстоятельство: автор «Капитанской дочки» изымает целую главу из текста и сам обозначает ее как пропущенную. Относительно соображений, которые заставили писателя осуществить это изъятие, существует две точки зрения¹⁸). Признавая справедливость отдельных соображений А. И. Незеленова относительно художнической требовательности А. С. Пушкина, соглашаясь с мнением Ю. Г. Оксмана относительно полной обоснованности опасений цензурного порядка, следует обратить внимание еще на одно обстоятельство — на то, что «Пропущенная глава» и «Капитанская дочка» в целом внутренне противоположны друг другу — противоположны в самом подходе к изображению народного характера.

Если рассматривать образ Пугачева в системе канонического текста «Капитанской дочки» с точки зрения социальных связей главного героя, то окажется, что предводитель восставших соотнесен, во-первых, с враждебной ему силой в лице оренбургского генерала и императрицы и, во-вторых, с союзными ему силами в лице прежде всего казацко-башкирской вольницы и ближайшего окружения. Для нас важно установить, какую функцию несет связь предводителя с предводимыми. Как ни велика дистанция между Пугачевым и его сподвижниками, как он над ними ни возвышается, связь с ними, соотнесенность с ними отнюдь не снижают образ крестьянского царя. Скорее напротив: именно благодаря этой связи образ незаурядного человека из народа приобретает историческую значительность и весь его нравственно-психологический облик преисполняется сумрачного величия.

Между тем, войди «Пропущенная глава» в «Капитанскую дочку», образ Пугачева неизбежно должен был бы соотнестись с убожеством горюхинского «неисторического» существования, а это, в свою очередь, неизбежно привнесло бы оттенок карикатур-

18) А. И. Незеленов считал, что глава «была пропущена из повести самим Пушкиным и не по каким-либо посторонним соображениям, а потому, что он был ею недоволен, ибо она мешает художественной стройности и правде всего произведения» (А. И. Незеленов. Шесть статей о Пушкине. СПб, 1892, стр. 102—103). Однако уже в XIX веке определился и диаметрально противоположный взгляд. Показательно, что И. С. Тургенев в предисловии к французскому изданию «Пропущенной главы», опубликованном под характерным заголовком. «Эпизод из гражданской войны в России» («La Revue politique et littéraire», 1881, № 5) говорит с уверенностью как о чем-то само собой разумеющемся: «...эта глава, запрещенная царской цензурой, недавно обнаружена в бумагах автора» (цит. по кн.: «А. С. Пушкин. Капитанская дочка». М., «Наука», 1964, стр. 227). В советской науке эта точка зрения получила значительное распространение. Полная система ее аргументации содержится в статье Ю. Г. Оксмана «Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка» (в кн.: «А. С. Пушкин. Капитанская дочка». М., «Наука», 1964).

ной сниженности и в образ самозванца и в облик пугачевщины, исторический размах и внутренняя обоснованность которой были ясны А. С. Пушкину. «Пропущенная глава» приземляет и мельчит стихию «русского бунта» — стихию, которая поставила под угрозу самое существование феодально-дворянской государственности. Поэтому А. С. Пушкин, показывая при изображении Пугачева и пугачевщины «исторический» облик народного движения, опускает те сцены, где повстанцы теряют этот свой облик и приближаются к «неисторическим» горюхинцам.

Но «Пропущенная глава» снижает образ не только Пугачева и пугачевщины — она снижает и образ Савельича, который по своему так же значителен, как и Пугачев, и который не менее важен для того, чтобы уяснить пушкинское понимание народного характера.

Савельич по своему равновелик Пугачеву, ибо решимости и удали самозванца соответствует неизменное мужество гриневского крепостного слуги, для которого чувство долга так же значимо, как воинская верность присяге его молодого господина или как ощущение своей индивидуальности, своей избранности для Пугачева¹⁹⁾. Гриневский слуга не укладывается в поговорку: «В ногах подход, в руках поднос, в сердце покор, в голове поклон», ибо Савельич преисполнен не просто покорности, но и верности своим убеждениям в любых обстоятельствах, как бы тяжелы и рискованы они ни были. В Савельиче господствует не лакейство, а преданность, доходящая до героизма, до способности к самопожертвованию — вспомним, как спасает он от петли Петрушу Гринева, как вступает в пререкация с Пугачевым из-за разграбленного барского имущества.

Но все дело в том, что рабская — горюхинская — психология помещена в душу по своему героическую, соединена с умом ясным и по своему самостоятельным. Трезвость этого ума проявляется, между прочим, и в том, что Савельич не верит в победу пугачевского движения. Ни колокольный звон, сопровождающий торжественное вступление крестьянского царя в захваченную крепость, ни приветствующие самозванца жители, ни внушительный вид мятежного войска, ни виселицы как устрашающий атрибут государственности не заставляют Савельича поверить в прочность происходящих перемен. Восстание он воспринимает в бытовом, а отнюдь не в историческом облике.

Однако в этой трезвости есть и своя слабость. Ясность и самостоятельность Савельичева ума получает одностороннее развитие:

¹⁹⁾ На эту особенность Савельича как «крепостного крестьянина», который «заслуживает не только сочувствия, но и глубокого уважения», обратил внимание С. М. Петров, который увидел «человека, способного на самопожертвование, и при всей своей почтительности к господам, нередко проявляющего независимость, безбоязненность» (С. М. Петров. Исторический роман А. С. Пушкина, стр. 122).

крепостной слуга не поднимается до осознания противоположности барских и мужицких интересов, в отличие от Пугачева, и уж тем более Савельичу недоступно ощущение индивидуальной ценности жизни, высокой радости самоутверждения пробуждающейся под воздействием исторических потрясений личности (опять-таки в отличие от Пугачева).

Тесна улица для удалого самозванца — гриневскому слуге простор и не нужен. В результате на образ Савельича ложится отсвет рассказываемой самозванцем легенды об орле и вороне. Савельичу уготована судьба ворона потому, что он силою обстоятельств лишен чувства личности. Однако горюхинские традиции не приобретают в облике гриневского слуги тех снижающих подробностей, которые есть и в «Истории села Горюхина» и в «Пропущенной главе».

Прошел свой путь по кругам земной славы Пугачев и закончил его на плахе, прожив «тридцать лет» «орлиной» жизни, узнав всю бескрайность взлета и всю бездонность падения. Проходит свой путь и Савельич, и ничего в его сознании и в его судьбе не меняется — при нем остаются все «триста лет» «вороньего» существования. Попав в эпицентр исторического потрясения, гриневский дядька умудрился остаться в рамках «неисторического» горюхинского бытия. Те возможности, которые крестьянская война открыла человеку истории Пугачеву, остались не имеющими никакого отношения к Савельичу, человеку «неисторической» жизни.

И хотя в рамках «Капитанской дочери» судьба гриневского «верного холопа» складывается совершенно благополучно, образ его тоже несет на себе печать обреченности. Однако если Пугачев обречен в претензиях личности на историческую результативность действий, то Савельич обречен в своей исторической бездейственности на то, что личностное начало его сознания так и останется в узких пределах «вороньего» — горюхинского — существования. Тем самым трагической судьбе Пугачева своеобразно соответствует трагическая судьба Савельича.

Важно лишь отметить, что трагичность у них возникает на двух разных основаниях. Источник трагедии Пугачева в том, что незаурядная личность обречена на гибель в силу того, что возглавляемое этой личностью движение исторически бесперспективно. Что же касается Савельича, то он трагичен потому, что добровольно и охотно растворяется в «неисторическом» существовании, хотя и несет в себе богатые возможности для развития личности. Савельич, физически оставаясь живым и здоровым, губит в себе личность, в отличие от Пугачева, который, даже погибая, утверждает себя как личность.

Растворяясь в массовом, Савельич вместе с тем оказывается в некоей социально-нравственной изоляции. Это особенно заметно в «Пропущенной главе». Только он один сохраняет верность сво-

им господам вплоть до готовности подвергнуть себя смертельному риску (вспомним, как он тайком седлает лошадь пугачевского командира, скачет в расположение гусарского полка и только тем спасает запертых в амбаре помещиков). Это — в отличие не только от мужиков, но и от дворовых, которые не приняли участия в восстании и в то же время пальцем не шевельнули в защиту своих хозяев.

Однако героизм Савельича выступает на фоне откровенно сниженного изображения крестьянства в «Пропущенной главе», где нет, как уже говорилось, подлинной зрелости гнева, но где нет также и подлинной верности и надежного, искреннего послушания. В равной мере немногого стоит как бунтарство, моментально смиримое, так и всегдашняя преданность своим господам, которая вдруг оборачивается непокорностью, напоминающей герою-повествователю «заблуждение, мгновенное пьянство...» (VI, 550). Мужичья покорность «Пропущенной главы» сродни тому «состоянию полной обездоленности, нищеты, забитости, в которое погружена осужденная на рабство крестьянская масса в «Истории села Горюхина»²⁰).

Важно лишь добавить, что идейное содержание «Истории села Горюхина» несводимо только к изображению скудности и убожества. Равным образом и авторское отношение не укладывается в рамки «мрачной пушкинской иронии», верно отмеченной И. В. Сергиевским²¹).

Уже в «Истории села Горюхина», которая писалась за три года до того, как А. С. Пушкин приступил к работе над «Капитанской дочкой», есть и иное, отмеченное Н. Я. Берковским и чрезвычайно важное для нашего понимания образа Савельича:

«В «Селе Горюхине», затем в стихотворении «Шалость» содержатся важнейшие положительные темы Пушкина в этот период. В крепостном мужике, загнанном нуждой и барскими поборами, Пушкин умел увидеть ту серьезность жизни, которая навсегда покинула светские дома Москвы и Петербурга. Мужичья, деревенская, провинциальная Россия — это Россия производящая, делающая условия жизни, Россия доброй и, к несчастью, несвободной прозы. Несвободной, — мы знаем, — пото-

²⁰ И. Сергиевский. «История села Горюхина». — «Литературное обозрение», 1937, № 2, 25 января, стр. 31.

²¹ И. Сергиевский. «История села Горюхина», стр. 34. Важно подчеркнуть эту «мрачную пушкинскую иронию» в противовес мнению Н. О. Лернера о том, что перед нами «шутка, умная, добрая шутка» (Н. О. Лернер. Проза Пушкина. II гр. — М., изд-во «Книга», 1923, стр. 37).

му что вся жизнедеятельность этой «низшей России» обращена была на чужую пользу...»²²).

Эта «серьезность жизни» предстает в образе Савельича как некое поэтическое воплощение верности своему долгу, но вместе с тем такой верности, которая «обращена была на чужую пользу» — в том смысле, что ничего не давала для раскрытия таящихся в Савельиче незаурядных возможностей духовного развития. Но для А. С. Пушкина важно в народном характере не только личностное, но и внеличностное, «роевое», как стали потом говорить. Сохраняя верность распространенной в декабристских кругах мысли, соотносящей, по словам (ранее цитированным) Л. Я. Гинзбург, «индивидуальность, самобытность народа (нации) и индивидуальность человека», писатель сделал решительный шаг вперед — в его понимании всеобщая «неисторическая» жизнь народа не менее важна для общества, по своему не менее содержательная, чем историческая действительность, пробуждающая личность в человеке массы, который возникает в недрах все той же «неисторической» жизни народа. Образом Савельича А. С. Пушкин, следовательно, подчеркивает историческую правомерность и обоснованность «неисторического» горюхинского бытия.

Пугачев и Савельич, следовательно, не только противопоставлены, но и соотнесены между собой, оказываясь двумя концами одной несущей конструкции. Для А. С. Пушкина не было той непреодолимой преграды между крестьянским бунтом и революцией, какая существовала для А. Н. Радищева, который приветствовал, например, английскую революцию и сопутствовавшие ей репрессии как соответствующее нормам разума осуществление попрачного «естественного права» и с этой же точки зрения осуждал пугачевщину как воплощение стихийного, неосмысленного недовольства и слепой мести. Равным образом для автора «Капитанской дочки» в реальной действительности не было четкой границы между Савельичевой покорностью и той «серьезностью жизни», которая в своем «неисторическом» облике составляет не только материальную, но и духовную основу для «исторической» жизни.

Тем самым понятие исторической жизни народа приобретало широту и объемность, становилось диалектически многосторонним.

Пугачев и Савельич соотнесены не только между собой, но и с народной жизнью, с историей в целом. При этом коллектив — массовое начало народной жизни — порождает героическую, написанную не без романтических влияний личность — Пугачева,

²² Н. Берковский. О «Повестях Белкина» (Пушкин 30-х годов и вопросы народности и реализма). В кн.: «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. Сборник статей». М.—Л., ГИХЛ, 1960, стр. 102. Разрядка принадлежит автору.

который, противостоя массе, выражает в то же время черты ее «исторического» облика подобно тому, как Савельич воплощает в себе «серьезность жизни» «неисторического» существования все той же народной — крестьянской по преимуществу — массы.

В пятой статье об А. С. Пушкине В. Г. Белинский говорит: «Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность»²³). Эта «красота человека и лелеющая душу гуманность» отлились у автора «Капитанской дочки» в образах Пугачева и Савельича. Так в предельно сжатой цельности трактовки обеих ипостасей народного характера заявил о себе пушкинский историзм художественного мышления, который был завещан не только ближайшим поколениям русских писателей, но и более отдаленным потомкам.

²³) В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 7. М., АН СССР, 1955, стр. 339.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА

Ученые записки, т. 483

ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

Псков, 1972 г.